*Б. Бачко**

ХОРОШИЕ НОВОСТИ О ТЕРМИДОРЕ. АНРИ МЕЙСТЕР ПОСЕЩАЕТ ПАРИЖ

Статья посвящена Жаку-Анри Мейстеру – уроженцу германских земель, писателю, журналисту, активному деятелю эпохи Просвещения. На протяжении многих лет он издавал начатую Гриммом «Литературную корреспонденцию», встречался с Вольтером и Руссо, дружил с Дидро, Неккером и мадам де Сталь. В 1795 г. Мейстер посетил термидорианский Париж, еще не оправившийся после террора, и по итогам этой поездки написал книгу «Воспоминания о моем последнем путешествии в Париж». Внимательный наблюдатель, Мейстер с удовольствием описывает мельчайшие детали парижской жизни, делая при этом глобальные выводы. Его потрясает, насколько быстро Париж смог зажить обычной жизнью, забыв про все раны, нанесенные Революцией: оживление на улицах, переполненные театры, жертвы и палачи, сидящие рядом в одном кафе, все его изумляет. И одновременно он приходит к выводу о том, что Революция не смогла полностью разорвать связь времен, и в термидорианском Париже, как и в национальном характере французов, очень многое осталось от Старого порядка.

Ключевые слова: Французская революция, Жак-Анри Мейстер, Просвещение, Париж, Террор, Термидор

«Как обычно, прогуливаясь по Парижу летящей походкой, глазея по сторонам, я стремился вновь увидеть как можно больше мест, с которыми меня связывали нежные воспоминания (к одним я по-прежнему сохранил интерес, с другими – в силу привычки), и не мог избавиться от поразительного чувства удивления и грусти».

«Я обещаю не рассказывать вам, что надеялся здесь увидеть; но, увы, мы можем смотреть на мир лишь своими глазами, то есть всегда с предубеждением, меняющим все, на что мы взираем и изучаем».

* *Бронислав Бачко, доктор наук, почетный профессор Женевского университета, доктор honoris causa Страсбургского и Турского университетов.*

Философствующий путешественник, так начавший свой рассказ о посещении Парижа, – Жак-Анри Мейстер. А Париж, в который он приехал, – это город осени 1795 г. или конца III – начала IV года Республики

В 1795 г. Мейстеру уже исполнилось 50 лет (он родился в 1744 г.); позади осталась блестящая карьера парижского литератора, серьезно нарушенная Революцией. Писатель, журналист, он был главным образом «культурным посредником», «проводником», если воспользоваться этим модным термином.

Сын пастора, абсолютно двуязычный – он считал французский своим родным языком, – Мейстер после учебы в Эрлангене и Цюрихе готовился к протестантскому служению, и еще в молодости он обратил на себя внимание своими первыми проповедями. В 1764 г. по приглашению Поля Мульту Мейстер в течение нескольких недель жил в Женеве. Еще в Цюрихе он прочитал немало французских авторов, а благодаря Мульту познакомился в Фернее с Вольтером и съездил в Мотьер, где встретился с Руссо. Во время пребывания в Женеве он часто посещал двух молодых женщин – Жермену де Вермену и Сюзанну Кюршо. В то время в парижских салонах об их истории только и говорили. Жермена де Вермену была богатой, молодой (25 лет) и очень красивой вдовой, как о том свидетельствуют великолепный бюст работы Гудона и прекрасный портрет Лиотара. В возрасте семнадцати лет она вышла замуж за богатого торговца, которому через год после свадьбы пришла в голову прекрасная мысль умереть и оставить ей наследство и сына (в 1764 г. мальчику было семь лет). Сюзанн Кюршо, дочь лозаннского пастора, была нанята мадам Вермену в качестве гувернантки сына. В то время за мадам Вермену ухаживал Жак Неккер, компаньон крупного женевского банкира Теллюссона. И пока Жермена де Вермену привередничала и не решалась вновь выйти замуж, Неккер к ее большому удивлению объяснился с гувернанткой и женился на ней. Место гувернера освободилось, мадам де Вермену наняла Мейстера и привезла его в Париж, где тот старался обучать своего ученика согласно принципам «Эмиля», а сам стал любовником его матери.

В 1768 г. в Цюрихе Мейстер опубликовал брошюру «О происхождении религиозных принципов», в которой утверждал, что все религиозные идеи имеют природные и общечеловеческие корни и что священники разных столетий добавили к ним немало заблуждений. Анонимная брошюра вызвала скандал: ее автор был быстро вычислен,

книжка сожжена на городской площади, виновника навсегда изгнали, а его имя вычеркнули из списка граждан. В XVIII в. скандал был важной частью литературной жизни: Вольтер и Дидро встали на защиту молодого автора, жертвы нетерпимости. Таким образом, Мейстер сделал себе имя, а скандал способствовал его карьере в Париже, где он окончательно обосновался у мадам де Вермену. Вскоре его положение в обществе значительно улучшилось: из гувернера-наставника, типичного социокультурного персонажа XVIII в. он превратился в признанного литературного деятеля, а это был уже совершенно другой социокультурный тип той эпохи. Успехом он был обязан не только своему таланту и работе, но и завязавшимся знакомствам и дружеским отношениям в кругах парижских салонов и литературного мира. У самой Жермены де Вермену тоже был салон, где молодой Мейстер познакомился с Гриммом, д'Аламбером, Морелле и многими другими. Мадам де Вермену ввела Сюзанну Неккер в литературные круги и также помогла ей открыть свой собственный салон, который в скором времени превратился в один из самых крупных парижских салонов. Эти две женщины остались друзьями: мадам де Вермену стала крестной матерью дочери Неккеров, названной в честь нее Жерменой. Мейстер, конечно, посещал салон мадам Неккер, где подружился с Дидро. Молодой воспитатель обладал талантом завязывать дружеские связи с детьми своих друзей: он так и останется верным другом Жермены Неккер, будущей мадам де Сталь, и Анжелики Дидро, в замужестве Вандель.

В 1770 г. благодаря мадам де Вермену Мейстер начал сотрудничать с «Литературной корреспонденцией» Гримма. Это была довольно необычная затея: рукописный журнал, выходивший дважды в месяц, каждый номер которого изначально состоял из тетради и одного журнального листа (шести страниц), а с 1759 г. в среднем из двух журнальных листов. Он предназначался для полутора десятков подписчиков, среди которых были Фридрих II, Екатерина II, Станислав Август Понятовский, Луиза Ульрика, королева Швеции, Леопольд, великий герцог Тосканы, герцогиня Вюртембергская, герцог Брауншвейгский, герцог Саксен-Готтский и т.д. В журнале сообщались литературные новости, информация о спектаклях и музыкальной жизни, парижские и придворные слухи, а также новости, поступающие из Фернея; кроме того, в нем публиковались многие тексты Вольтера. Гримм создал сеть сотрудников, среди которых были Дидро, мадам де Вермену и мадам д'Эпине. В этой «Европе, которая говори-

ла по-французски» и которой Марк Фумароли посвятил свою прекрасную книгу, «Корреспонденция» стала наиважнейшим культурным посредником[1].

С 1773 по 1813 г., то есть в течение сорока лет с небольшим перерывом в период между 1791 и 1793 гг., «Корреспонденцию» составлял и редактировал Мейстер, которому Гримм передал это дело. Так Мейстер нашел свое призвание: космополит, настоящий европеец, культурный посредник между Францией и культурными элитами Германии, России, Швеции и других стран. Количество читателей «Корреспонденции» сложно подсчитать: ее читали не только знаменитые подписчики, но и их окружение. Мейстер унаследовал от Гримма всю сеть сотрудников, переписчиков и, конечно, приличный доход, который обеспечил ему материальный достаток (ок. 9 000 ливров, затраты на копирование и пересылку достигали около 3000 ливров). Мейстер был полностью интегрирован в парижский литературный мир, он невероятно легко писал и к тому же обладал замечательной работоспособностью. Он заручился согласием Дидро на постоянное сотрудничество, в частности, на страницах «Корреспонденции» были опубликованы «Салоны», «Жак-фаталист», «Монахиня» (после смерти Дидро, Анжелика предоставила Мейстеру доступ к бумагам Дидро и многие тексты философа были опубликованы уже посмертно). «Корреспонденция» знакомила также с текстами Вольтера, Гольбаха, Рейналя и многих других. Сам Мейстер исписал тысячи страниц, ставших настоящей летописью культурной жизни того времени, в которой знаменитые авторы соседствовали с анонимами, а признанные шедевры – с написанными по случаю брошюрками. Его «рефераты» в форме коротких заметок или длинных статей представляют собой тщательный и тонкий пересказ произведений, о которых он пишет, а также его критические замечания.

---

[1] Лучшее доступное издание «Корреспонденции» − это 16-томное издание Мориса Турне: *Correspondance littéraire, philosophique et critique, par Grimm, Diderot, Meister, etc.* P., 1878, которое охватывает 1753–1790 гг. (издание неполное: издатель, в частности, опустил тексты Вольтера и Дидро, с тех пор опубликованные отдельно). Остается неизданным продолжение «Корреспонденции», возобновившейся с 1793 г. и продолжавшееся еще 20 лет. Благодаря Улле Келвинг и Жанне Карриа в нашем распоряжении имеется прекрасный *Inventaire de la Correspondance de Grimm et de Meister.* Oxford, 1984. 4 vols., составленный на основе рукописей, рассеянных по всей Европе. Самый полный экземпляр находится в научной библиотеке в замке Фриденштайн в Готе. В наше время, когда вновь признана важность изучения культурных связей, «Корреспонденция», без сомнения, заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание и изучили заново.

В 1776 г. Неккер был назначен контролером финансов, и, стало быть, Мейстер оказался в центре политической жизни. Салон мадам Неккер стал привилегированным местом, где формировалось общественное мнение и циркулировали слухи, где создавалась и разрушалась литературная слава. В 1789 г. Мейстер с воодушевлением принял Революцию, но быстро в ней разочаровался, особенно после падения Неккера осенью 1789 г. Он остался в Париже, продолжил выпускать «Корреспонденцию» и посещать салон мадам де Сталь вплоть до свержения монархии и убийств в тюрьмах в сентябре 1792 г. Напуганный, он почувствовал прямую угрозу для себя. И действительно, среди его подписчиков значился герцог Брауншвейгский, который в 1792 г. стал главнокомандующим армией коалиции и в своем манифесте угрожал покарать Париж, − достаточная причина для того, чтобы человек, состоящий с ним в переписке, был арестован. При совершенно невероятных обстоятельствах Мейстер бежал в Англию, где оставался до 1794 г. Затем он вернулся в Цюрих – там грехи его молодости были к тому времени уже прощены – и возобновил «Корреспонденцию». Совершенно самостоятельно, без помощи переписчиков, вплоть до 1813 г., то есть почти 20 лет, он с различным количеством подписчиков нес это бремя.

Осенью 1795 г. по предложению Анжелики Вандель Мейстер решил совершить путешествие в Париж. На то у него было множество причин: он хотел вернуть свою прекрасную библиотеку и свои бумаги (он оставил их во время бегства и опасался, что его книги могли конфисковать как имущество эмигранта), а также хотел восстановить и вновь завязать знакомства, чтобы подпитать ими свою «Корреспонденцию». Но больше всего его интересовал сам Париж, выходящий из Террора. И вот 22 сентября 1795 г. Мейстер прибыл во Францию и провел в Париже около двух месяцев (до середины ноября). С декабря 1795 г. и на протяжении всего 1796 г. он публиковал в «Корреспонденции» свой роман-фельетон о термидорианском Париже. В первую очередь эти тексты предназначались для ограниченного числа подписчиков «Корреспонденции» и их окружения. Информация была тем более ценной, что при Терроре иностранные путешественники в Париже появлялись редко. Таким образом благодаря Мейстеру вся просвещенная европейская элита узнавала о парижской жизни после Террора. Своим читателям Мейстер предлагал философский, социологический и политический репортаж. Он вновь начал играть роль интеллектуального проводника, но на этот раз между читателями-аристократами и термидорианской Франци-

ей. В тех же выпусках читатели, среди прочего, находили рецензии на последние французские издания. Лишь летом 1797 г. Мейстер отредактировал свои тексты и опубликовал их отдельно – в виде, доступном широкой публике. Он дал им название «Воспоминания о моем последнем путешествии в Париж»[2].

Рассказ о дальнейшей жизни Мейстера (он умер в 1826 г. в возрасте 82 лет) я позволю себе опустить: после своего путешествия 1795 г. он много писал и публиковал и потом еще не раз возвращался в Париж. Мейстер сыграл и определенную политическую роль, в частности, в 1803 г. во время французского посредничества в Швейцарии. Наполеон, судя по всему, ценил его сочинения о Швейцарии. В автобиографическом неизданном тексте «Моя тщета» *(«Mes vanités»)* Мейстер рассказывает, что в 1806 г., услышав слухи о скорой аннексии Швейцарии, он написал императору докладную записку, объясняющую, что подобное действие было бы бессмысленным и несправедливым. Наполеон весьма благосклонно принял его доводы[3]. Мейстер поддерживал тесные дружеские связи с мадам де Сталь и неоднократно останавливался у нее в Коппе. Мадам де Сталь посылала ему все свои произведения и не боялась просить его о многочисленных услугах и сведениях: например, о местонахождении монастыря в окрестностях Цюриха, где в конце своего романа «Дельфина» она решила заточить героиню. В свою очередь Мейстер в «Корреспонденции» предоставлял ей место на выбор не только для публикации неизданных произведений и презентации ее книг, но и для путевых заметок, рассказов о злоключениях и даже для небольших анекдотов. Таким образом, для всей просвещенной европейской элиты он стал, если можно так сказать, агентом по общественным связям этой «известной дамы». Несмотря на все свое восхищение авто-

---

[2] Произведение, переведенное на итальянский и немецкий языки, познало настоящий успех. В 1910 г. оно было переиздано с многочисленными дополнениями: *Meister H. Souvenirs de mon dernier voyage à Paris (1795)*. Publiés pour la Société d'histoire contemporaine par Paul Usteri et Eugène Ritter. P., 1910. Далее «Воспоминания» цитируются по данному изданию, в тексте статьи указывается в скобках номер страницы. Две цитаты, с которых начинается статья, взяты, соответственно, со страниц 92 и 43.

[3] См.: Bibliothèque publique et universitaire de Genève, ms, fr. 2584, enveloppe 3. «Из всех моих сочинений я небезосновательно осмеливаюсь радоваться именно этому, по всяком случае, тем суждениям, которые оно породило, и тому успеху, которое ему удалось завоевать». Вышеупомянутая докладная записка Мейстера находится в том же фонде: Ms. Fr. 2585, env. 9.

ром «Коринны», Мейстер сохранил независимый характер и в свои, как правило, восторженные, рецензии добавлял также замечания и критические наблюдения, часто весьма существенные[4].

В 1795 г. Мейстер приехал в Париж в беспокойное время: «декреты о двух третях», устанавливавшие, что две трети членов новых законодательных Советов должны быть в обязательном порядке избраны из числа депутатов Конвента, вызвали сильное раздражение сторонников умеренных взглядов и были по большей части отклонены во время референдума парижскими секциями. В начале октября протестное движение, возглавляемое роялистами, превратилось в *journée* – вооруженное восстание революционного типа, но на этот раз оно было направлено против революционной власти. Для противодействия повстанцам Конвент прибег к помощи войск, а также «террористов», арестованных после термидора, освобожденных из тюрем и вновь вооруженных («резервная армия» Конвента, как назвал их Констан). Баррасу было поручено командование силами Конвента. На деле же большинство операций проводилось молодым генералом с плохой якобинской репутацией: 5 октября (13 вандемьера IV г.) Бонапарт без угрызений совести приказал доставить пушки и расстрелял из них повстанцев. В первый раз армия справилась с политическим кризисом. С каждой стороны оказалось примерно по 300 человек убитых и раненых, а Бонапарт долгое время не мог избавиться от прозвища «генерал вандемьер». Внимательно наблюдая за этими событиями, Мейстер не ограничивался исключительно политическими новостями. Он ходил по улицам и посещал спектакли; у него был дар наблюдателя за повседневной жизнью, любившего жанровые сценки; особенно его привлекали люди и идеи. В своих репортажах он через конкретику искал ответы на самые общие вопросы. Чем стал Париж через год после Термидора и окончания Террора? Закончилась ли уже Революция? Есть ли будущее у нового режима Директории? И какое будущее он несет Франции? Иными словами, его текст представлял собой игру отражений: между живописными деталями и политическим анализом, между воспоминаниями о прошлом и наблюдениями за настоящим. Мейстер остался человеком Старого порядка, но пытался понять новые политические и культурные реалии и объяснить их своим читателям.

---

[4] О творчестве и идеях Анри Мейстера см. примечательную монографию: *Moog-Grünewald M. Jacob Heinrich Meister und die «Correspondance littéraire».* B., 1989.

Так какие же новости поступали из этого термидорианского Парижа? Неожиданные, очень противоречивые, но в целом обнадеживающие. Одним словом, хорошие новости.

Истерзанный Париж

«Я ненавижу и всегда буду ненавидеть революции. Зло, которые они порождают, несомненно, а благо, которое может из них воспоследовать, зависит от целого ряда случайностей, слишком опасных и не поддающихся предвидениям нашей мудрости и проницательности» (с. 44), – таково кредо Мейстера, его символ политической веры, его «предупреждение» и убеждение, через призму которого он наблюдает за парижскими реалиями. Это случилось, констатирует он, революция уже состоялась. Спрашивать себя, стоило ли ее начинать, жалеть о прошлом, которому она положила конец, − вполне естественное желание разума, однако с точки зрения политики – довольно бесплодное занятие: «Особенно в политике, где никогда нельзя отталкиваться от какой-либо иной точки, кроме той, в которой мы сейчас находимся» (с. 45). Вот реалистичная позиция, которую нужно принять по отношению к власти, возникшей во время Революции. Это также правило, вынуждающее автора быть как можно более беспристрастным. Чем строже он это правило соблюдает, тем более душераздирающей выглядит эта картина.

Последствия революционных потрясений и в особенности травма Террора оставили свой след в мыслях людей и наложили отпечаток на саму ткань городской жизни. Термидорианский Париж – это израненный город.

На каждом шагу путешественник замечал следы вандализма, разрушений, которым подверглись красивейшие парижские памятники. Какое удивление и какую боль испытал он через несколько дней после своего приезда, когда проходил мимо Дома инвалидов, «этого великолепного дома божьего, с которым поступили, как будто он был жилищем аристократа или эмигранта. День подходил к концу, и я заметил на внешнем дворе Дома большую группу огромных и ослепительно белых фигур, прижатых друг к другу, как если бы их согнали в овчарню. Я сначала не догадался, что это такое, но, приблизившись, узнал грандиозные статуи мраморных святых, которые ранее украшали ниши этого великолепного храма. Они, без сомнения, были выставлены на продажу, как и множество других всевозможных вещей,

которые можно увидеть повсюду, если можно так выразиться, на всех улицах. Но эти бедные святые! Кто бы их захотел или кто бы осмелился их купить?» (с. 81) [5].

В квартале Сен-Жермен, на главных фасадах больших особняков крупными красными и черными буквами выведено «Национальная собственность, продается». Степень их обветшания устрашает. «Всюду, куда проникли революционные комитеты, можно увидеть следы разрушительного прохода армии гуннов или вандалов» (с. 79). Все было разграблено: мебель, зеркала, оконные стекла, обшивка стен. Под предлогом изъятия свинца с крыш и селитры из подвалов для изготовления пушек и пороха уничтожили все резные деревянные панели, оставив голые стены. Платя ассигнатами, можно было за бесценок купить прекрасный особняк. Однако случайные покупатели приобретали их лишь для того, чтобы с выгодой перепродать. И впрямь, ремонт особняка превысил бы стоимость покупки в двадцать раз. Эти варварски раз-

---

[5] Статуи, лежащие перед Домом инвалидов, не привлекли внимания Луи-Себастьяна Мерсье, неутомимого любителя прогулок по Парижу. Зато он был впечатлен судьбой других колоссальных статуй, сваленных в кучу за собором Парижской Богоматери. «Помните ли вы, читатели, королей с портала Нотр-Дам, эти бесформенные глыбы, похожие на огромных слонов, расставленные вдоль длинного карниза в нишах главного фасада первого храма столицы? Здесь стояли все Меровинги, довольно сильно почерневшие с течением времени. Но еще можно было различить каменных монархов, современников ушедших веков, которые вдруг оказались сброшенными на землю. Знаете ли вы, что с ними сталось? Они, сваленные за церковью один на другого, погребены в самых отвратительных нечистотах. Их чудовищные формы привлекают взгляд. И когда вновь их видишь, с огромными скипетрами в руках, нелепо покалеченных, улыбаешься от жалости, но потом начинаешь размышлять о своеобразном приговоре времени и о странных ударах судьбы. Конечно, скорее случайность, чем злой умысел, привела к такому гротеску и унизительному падению. Но ни к чему оскорблять зрение наравне с обонянием; их история уже сама по себе безрадостна.

Гренадер с трубкой во рту вскарабкался на круглое брюхо Карла Великого и, без страха и упрека, стукнул по большому носу императора: <…> Его приятель сделал то же самое и даже не позаботился узнать имя лица, которое он попирал и осквернял! <…> Таков сегодня в Париже новый Сен-Дени [место захоронения королей Франции] или, скорее, музей этих древних королевских статуй. Любопытствующий, проходя мимо, зажимает нос и опасается, как бы эти статуи, более зловонные, чем трупы, не вызвали бы чумы». – *Mercier L.-S. Le nouveau Paris /* Ed. établie sous la direction de J.- Cl. Bonnet. P., 1994. P. 835–836.

Мерсье, как и его современники, считал, что монументальные статуи с опор арок портала Святой Анны, а также 28 статуй галереи, венчающей три портала фасада, представляли собой королей Франции, в то время как на самом деле они изображали иудейских царей. В 1792 г. с них сняли короны; в 1793 г. Генеральный совет Парижской коммуны решил их снять. Место их хранения скоро превратилось в выгребную яму, и в 1796 г. они были, наконец, проданы с молотка. В 1977 г. нашлись головы некоторых статуй, сейчас они выставлены в музее Клюни.

рушенные особняки могли послужить символом как нивелирующего равенства, так и новых революционных нравов. «Что общего между традиционной элегантной учтивостью француза и грубостями якобинского поведения, революционных нравов? Между самой плодородной почвой Европы и республиканским режимом экономии? Между блистательной деятельностью гордой и предприимчивой нации и смутными принципами равенства, разрушившими всю промышленность, всякую конкуренцию и даже, пожалуй, общественные добродетели» (с. 80). Мадам де Сталь, пораженная этим же феноменом грубости нравов, попыталась дать им какое-то определение и придумала неологизм: «вульгарность».

Париж стал городом, где все не на своем месте: «ничего стабильного, ничего основательного, почти ничего, чтобы находилось бы в своем естественном состоянии» (с. 92). Это касается и связи между интерьером и экстерьером, между частным пространством и публичными местами, между внутренним и внешним, столь много стало контрастов и перевертышей. «Все, что ранее было внутри апартаментов, вдруг разом оказалось выставленным на улицах. Мировая столица стала похожа на огромный магазин по продаже требухи» (с. 83). Все пространство перед домами, а также широкие аллеи превратились в магазины, где продавались мебель, картины, гравюры. Изделия, которые раньше можно было найти на мосту Сен-Мишель или на крытых рынках, теперь вдруг заполнили улицы. На каждом шагу сталкиваешься с людьми разного пола, возраста, статуса, которые несут под мышкой какой-либо сверток: это образцы кофе, сахара, сыра, мыла. Часто расставались с последней мебелью лишь бы купить продукты для семьи. Париж, огромный магазин требухи, был охвачен «исступленным желанием торговать старьем и играть на бирже», неистовством, которое подпитывалось как чрезмерной нищетой, так и избытком жадности, «неизменной заботой о сиюминутном богатстве» (с. 83).

Париж стал городом контрастов, крайней бедности и вызывающей роскоши. Следовало бы ожидать, что после Революции во Франции останется меньше и того, и другого. Но ничего подобного не произошло: революция отнюдь не обернулась на пользу беднякам. Парижской нищете Мейстер посвятил несколько прекрасных страниц. Продажа хлеба была нормирована, и государство субсидировало его стоимость. Монетами он стоил шесть су за фунт, в то время как «секционный хлеб, как его называют, продавался за три су (ассигнатами), то есть почти бесплатно. Но что это был за хлеб! Ни особо полезный, ни осо-

бо вкусный, из муки грубого помола, черный и весьма клейкий, потому что в него добавляли слишком много картофеля, фасоли, кукурузы и проса, да к тому же недостаточно хорошо пропекали» (с. 87). Мясо, рис, масло, свечи, уголь также продавались по умеренным и нормированным ценам. В итоге булочников, бакалейщиков и мясников «по полдня осаждали толпы мужчин и детей, зажимавших в руке карточку своей секции; можно было увидеть, как они терпеливо стоят, тесно прижатые друг к другу, будто нищие перед дверью богадельни. И это, по моему мнению, одно из достаточно удивительных чудес, которые сотворила революционная империя. Это называют “стоять в очереди” *(être à la queue)*» – любопытное новое выражение (с. 87). Те, кому удавалось купить хлеб, затем его перепродавали, а тот же самый хлеб, купленный в розницу, биржевые спекулянты, наживающиеся на голоде и нищете, в свою очередь перепродавали оптом и сколачивали себе значительные состояния. Чтобы защититься от голода, парижане прибегали к самым разным средствам. И поэтому в центре Парижа нередко можно было увидеть у дверей дома то клетку с кроликами, то козу. У всех, кто, как и сам Мейстер, был поклонником идиллий Гесснера, вид этих бедных коз на парижских улицах вызывал приливы меланхолии и жалости.

Так кто же выиграл от Революции? «Обогатившийся класс» был гораздо менее многочисленным, чем обычно считается: «В действительности он состоял лишь из биржевых игроков, дельцов, армейских поставщиков, их подчиненных, нескольких отдельно взятых правительственных чиновников, фермеров, которые обогатились благодаря новым приобретениям и которые были достаточно тверды и предусмотрительны, чтобы спрятать свое зерно, закопать свое золото и не принимать к оплате ассигнации» (с. 71). Настоящей французской аристократией, которой люди имели полное право возмущаться, были как раз такие крупные фермеры, «опьяненные своим богатством» (с. 63–64).

Что представляли собой парижские улицы? «Как здесь обрисовать всю пестроту, все разнообразие жителей, заполняющих сегодня улицы этой огромной столицы? Разодетые в пух и прах женщины под руку с настоящими санкюлотами; другие женщины, идущие в полном одиночестве, но с большим трудом, смущавшиеся от необходимости приподнимать свои элегантные платья до середины икр, чтобы не испачкаться; или женщины, одетые гораздо проще, иногда даже с явными признаками бедности, но все еще легко выделяющиеся из толпы в силу благороднейшей манеры держать себя на людях. Старые аббаты

с подстриженными кружком остатками волос, смиренно терпящие в своих лачугах боль от ударов, которые получили от секционного булочника. <…> Множество новых воителей, чей неслыханный успех совсем недавно грозил захватом всему миру, а теперь бледных и оборванных. Неизвестные мужчины, которые, казалось бы, с высоты своей трибуны диктуют сегодня законы всей Европе, в самых грязных и неопрятных костюмах, что только подчеркивала трехцветная перевязь с золотой бахромой, они пытаются скрыться в толпе и не всегда ускользают, несмотря на их неприметность, от оскорблений и даже от проклятий прохожих» (с. 94–95; в этом описании можно узнать одежду членов Конвента).

Улицы были менее загроможденные, чем раньше, так как на них стало меньше экипажей. Впрочем, и сам ритм жизни сильно изменился. После десяти часов вечера, то есть после окончания театральных спектаклей, «гробовая тишина царила во всех кварталах». Встретить в это время экипаж – целое событие; редко столкнешься даже с прохожим, разве что с патрулями. Для них улицы и освещались, тогда как раньше они были заполнены разодетыми людьми. К тому же днем эти патрули были повсюду (вспомним, что Париж находился в разгаре политического кризиса). Переходя из секции в секцию, нужно было предъявлять свой паспорт или карточку, чтобы не подвергнуть себя риску ареста. «Это такое своеобразное напоминание, что мы находимся в самой свободной стране мира» (с. 96). Но не только ритм жизни изменился, перемены коснулись и ритуала смерти. Похоронные процессии, ранее мешавшие движению по улицам, исчезли. Похороны теперь «ограничиваются жалким гробом, покрытым трехцветным флагом, который несут один или два человека, а за ним следует только родственник или офицер полиции» (с. 95). Траурные одежды были запрещены: в этом городе, где воспоминания о Терроре все еще были живы, где столько семей оплакивали своих исчезнувших родственников, это была мудрая мера для успокоения и забвения (к этому мы еще вернемся).

Как одевались парижане? «Мужчины в основном довольно просто, довольно разумно, однако еще можно увидеть много жилетов и длинных кюлотов, одежду, которая, может быть, весьма удобная, но, тем не менее, слишком пошлая, слишком домашняя. Можно также наблюдать большое количество редингот, доходящих до каблуков и застегнутых до колен, а кроме того – огромные сабли, подвешенные на очень узкие перевязи, а также галстуки, похожие на обернутые вокруг шеи простыни, и усы, достойные этих благородных одежд террористов.

Женщины одевались со вкусом и достаточно элегантно: обувь на плоской подошве делает их походку более уверенной, но при этом она не становится менее изысканной или менее легкой. В поясах под грудью есть что-то простое и античное; они позволяют стройным фигурам демонстрировать свою гибкость; они скрывают некоторые недостатки и, без сомнения, подчеркивают те качества фигуры, которые прощались лишь крупным женщинам, однако так как сегодня почти все женщины выглядят имеющими пышные формы, в том числе самые молодые или самые уродливые, то это всего-навсего означает, что они следуют моде» (с. 92–93).

Все путешественники с удивлением отмечали, что они никогда не видели в Париже такого количества беременных женщин, как в те дни. Из этого не следует делать заключение, что любовь во Франции стала более нравственной. Напротив, общая распущенность воззрений и нравов, закон о разводе, домашняя независимость, столько рухнувших преград, столько уничтоженных предрассудков не могли не привести к увеличению количества непрочных союзов, пришедших на место брака, и благоприятствовать таким образом росту нового населения. В тюрьмах при Терроре также зарождались «истинная и великая любовь, как, впрочем, и обращение к Богу». Одним словом, на всех спектаклях и на всех бульварах можно было встретить «толпы плодородных красавиц», которые даже не скрывали своей беременности.

Живой Париж

Эти «плодородные красавицы» могли бы символизировать жизнь, которая берет свое и продолжается. Так как Париж, пусть и истерзанный, отнюдь не стал мертвым городом или городом, находящимся в плену мучительных воспоминаний. Он оставался живым городом, обращенным в будущее, политической и культурной столицей большой империи.

Мейстер прибыл в Париж через предместье Сен-Лоран, со стороны Шоссе-д-Антан. Однако, несмотря на зловещие предчувствия, к своему огромному облегчению он нашел «внешний облик этого огромного города, несмотря на все угрожавшие ему бури, несмотря на продолжавшие извергаться вокруг него вулканы, таким, каким он его оставил <…>, в некотором смысле даже еще похорошевшим» (с. 77). Квартал Шоссе-д-Антан являл собой образ нового города. Здания, которые, как он видел три года назад, только начинали строиться на бульварах, уже

достроили; теперь это был лучший квартал города, к тому же самый населенный. Свободные квартиры там были редки и весьма дороги, так как квартал был весьма удачно расположен: Шоссе-д'Антан не страдал от неудобств и шума центра города, но при этом находился вблизи от всего: от Пале-Рояля, Тюильри, а значит и от Конвента, а также от «контор, которые чаще всего посещали». На этой «ограниченной территории, от бульвара до бывшей площади Пале-Рояль», которую можно было объехать за четверть часа, находилось четыре театра: старая Комеди-Франсэз, новая, Комеди-Итальен, Опера, «не считая пяти или шести маленьких недавно основанных театров, в частности, театра Водевиль» (с. 78).

Перед тем как перейти к спектаклям, надо сказать еще несколько слов о населении Парижа в целом. Из-за наплыва людей, заметного в некоторых кварталах, на бульварах и особенно в театрах можно было бы подумать, что парижское население увеличилось. Однако самые точные подсчеты, основанные прежде всего на «обычном потреблении предметов первой необходимости», доказывают обратное. Количество прислуги и людей, занятых в сфере производства предметов роскоши, уменьшилось на три четверти; иностранцев также стало гораздо меньше; кроме того, Париж снабжал 150 000 солдат. Вновь прибывшие люди, в частности, спекулянты и иностранцы, большинство которых были политическими польскими и итальянскими эмигрантами, не заменили всех уехавших (с. 53).

В Париже Мейстер активно посещал спектакли (два года спустя Вильгельм фон Гумбольдт все еще считал театры самым важным культурным развлечением столицы[6]). «Во многих отношениях во Франции со времен Революции ничто не изменилось в меньшей степени, чем спектакли. <…> Никогда в Париже не было такого числа представлений, как в это время, и никогда они не привлекали такого количества публики» (с. 122, 124). Конечно, театр – своего рода наркотик: чем чаще посещаешь спектакли, тем больше в них нуждаешься. Но это не единственная причина огромного наплыва зрителей. В Париже никогда не было столько праздных и ничем не занятых людей: биржевые игроки, «дельцы, сколачивающие состояния», осаждавшие Конвент просители изо всех департаментов, военные (проездом), депутаты – весь этот пестрый люд встречался на спектаклях. Другая причина наплыва людей: театр был дешев. Места оплачива-

[6] См.: *Humboldt W. fon. Journal parisien (1797–1799).* P., 2001. P. 39–40.

лись обесцененными ассигнатами, «этими чудесными деньгами, которые так легко создавались, зарабатывались и тратились». Лучшие места в Опере шли по 30 франков, то есть по цене большого куска хлеба. В результате отправиться в театр, как это ни парадоксально, означало сэкономить: посещение театра стоило меньше, чем плата за свет и тепло дома. По всем этим причинам публика была совсем не такой, как раньше: менее блистательная, наделенная меньшим воображением и более вульгарная. Определенная утонченность исчезла вместе с двором, самым изысканным в Европе, где формировался вкус к удовольствиям. Во время Террора из репертуара были изъяты лучшие театральные пьесы под предлогом их аристократизма. На сцене «не осмеливались произносить имя короля, как если бы оно было волшебным и могло навлечь беду». Но к тому времени «Федру» и «Британика» вновь стали ставить без смехотворных исправлений, прекратили «республиканизировать» пьесы и говорить «гражданин» вместо «месье». На сцену вернулись великие актеры: Тальма, мадемуазель де Конта. На улице Ришелье, в том месте, где раньше находился отель де Лувуа, построили «красивейший театральный зал, который когда-либо был во Франции, способный, со всеми удобствами, принять в своих стенах самое большое количество зрителей. Подступы к нему и выходы были удобные, хотя главный фасад был обращен к весьма оживленной улице» (с. 133).

Другой примечательный культурный центр – Национальный музей. Граф д'Анживилье хотел его закончить, и кто знает, быть может, хватило бы одной двадцатой тех денег, что пошли на украшение «унылого Рамбуйе», чтобы этот музей, выполненный со всем великолепием, с которым он изначально задумывался, даже мог бы спасти в свое время монархию. Он мог бы дать более величественное представление о ее целях и задачах, он объединил бы на пользу Старого порядка литературу и искусство и смог бы отвлечь беспокойные умы. Однако именно революционное правительство создало этот удивительный музей. Конечно, многое там было еще далеко от совершенства: залы были освещены не так, как того желали художники, а председатель Комитета общественного образования, на которого Конвентом была возложена задача присматривать за музеем, менялся каждые три месяца, и всякий новый хотел совершить свою маленькую «революцию». В залах висели безобразные плакаты, напоминающие об уважении к собственности. «Разве эти плакаты не похожи на многочисленные объявления о средствах против сифилиса? Лучше всего они демонстри-

руют, без сомнения, лишь то, насколько эта болезнь, от которой хотят излечиться либо защититься, распространена» (с. 119).

И все же это была превосходная галерея, где были собраны шедевры, ранее спрятанные в стенах Версаля, Трианона, Сен-Клу, Люксембургского дворца, а также в некоторых столичных и провинциальных церквах, не считая всего того, что накопилось на чердаках Королевского интендантства зданий. С некоторых пор там также можно было лицезреть прекрасные полотна, «изъятые у штатгальтера ». Совсем недавно, во время Террора, коллекции были еще богаче, так как в Лувре выставляли картины, конфискованные у частных лиц, осужденных за эмиграцию или осужденных революционными трибуналами. Но термидорианское правительство вернуло похищенное добро «жертвам тирании». Вскоре образовавшиеся пустоты будут заполнены «завоеваниями Итальянской армии». Наш путешественник не высказывал никакого осуждения по поводу расхищения итальянских произведений искусства и их насильственного вывоза из традиционной культурной среды. Мейстер также посетил выставку конкурсных картин III года и был поражен большому количеству произведений женщин-художниц; он также отметил картины Жирарде, но ему совсем не понравилась странное полотно Реньо «Свобода или смерть».

Музей был открыт для широкой публики три дня в декаду, и каждый день там толпилось много народу. Другие дни резервировались за художниками, и «тогда туда можно было войти лишь благодаря частной протекции». И вот тут-то настоящий любитель мог воспользоваться моментом и в свое удовольствие полюбоваться картинами. «Там также можно было наблюдать еще более интересные сцены – различных учеников и учениц, которые предавались размышлениям или копировали прекрасные творения гения и образцы высокого искусства. Как не поверить, что переносишься в этот момент в самый счастливый период в истории Греции?» (с. 119).

Центр искусств, новые Афины, Париж также представлял собой политическую столицу большой и самой могущественной на континенте страны. Мейстер посетил Тюильри, где заседал Конвент. «В то время, когда я прибыл в Париж, Тюильри был все еще прекрасен. Партер над террасой Фейянов был украшен превосходными апельсиновыми деревьями; ниши и галереи, выходившие в сад, начали украшать бюстами и статуями» (с. 100). Всего через несколько дней этот сад превратился в военный лагерь. Конвент вызвал войска, чтобы бороться с восстав-

шими парижскими секциями, и теперь в саду виднелись лишь пушки, повозки и солдатские бивуаки.

Внутри Тюильри полностью преобразился, хотя перемены, которые там произошли, коснулись лишь деревянной резьбы и полотен. В целом, весь этот декор был подобран со вкусом. «Комнаты перед залом заседаний Конвента, так же как и он сам, выглядели, надо признать, простыми, в античном стиле и величественными». За большинством этих работ легко было увидеть гений Давида. Посреди одного из залов стояла огромная статуя Свободы; в другом зале храм Свободы находился на вершине скалы, с которой били молнии, низвергая всех демонов деспотизма и призраков рабства. Сам зал Конвента, где нижняя часть стен была отделана под мрамор, украшен большими гипсовыми статуями, раскрашенными «под бронзу» и представлявшими самых великих античных философов и законодателей: Нуму, Ликурга, Платона, Пифагора, Камилла, Брута. Зал был превращен в просторный овальный амфитеатр, где заседали депутаты. Там располагались лишь две ложи: первая предназначалась для особых посетителей, в частности для послов; другая была отведена дамам или, если угодно, «выдающимся гражданкам». Трибуны использовались широкой публикой. Сам Мейстер посещал Конвент в то время, когда, опасаясь беспорядков со стороны находившихся в оппозиции парижских секций, Комитет общественного спасения заполнял трибуны своими приверженцами. Поэтому все трибуны и соседние помещения были заняты «длинными редингготами, большими саблями, внушительными усами, и все они выражением лиц и костюмами походили на переживших бурю капитанов или на содержателей притонов» (с. 102).

По поводу порядка и активной деятельности, царившие в кабинетах Комитета общественного спасения, можно было бы сказать и побольше добрых слов. Мейстеру требовалось уладить одно личное дело, и служащие быстро нашли «в грудах папок и бумаг» нужный документ. Очевидный контраст по сравнению с эпохой Террора, когда в тех же самых кабинетах царил беспорядок и страх, а честный человек был уверен, что его оттуда бесцеремонно выпроводят. «Подчеркнуто грубые и варварские манеры зачастую преследовали лишь одну цель – завуалировать крайнее невежество негодяев и дураков, к которым приходилось обращаться» (с. 111–112). И как в таком случае не восхищаться эффективностью и энергией революционного правительства, совершившего, конечно, ужасные преступления, но построившего «все эти огромные военные мастерские, которые расположились поблизости от

бывшей Королевской площади, а также на обширной территории Дома инвалидов – здания, выстроенные почти сразу же после того, как были задуманы; все эти величественные чудеса вырастали из земли как по мановению волшебной палочки» (с. 113). Революционной Франции также удалось учесть недавние замечательные изобретения и поставить их на службу армии. Аэростаты способствовали военным успехам, а оптический телеграф, установленный в старом Лувре на павильоне Мазарини, обеспечил победу при Флерюсе. В скором будущем ему найдется поразительное применение и в мирных целях. Случится так, что он станет техническим ответом на важный политический вызов, с которым столкнется новый режим: на вопрос, как в большой современной стране установить постоянную и эффективную связь между народом и правительством, между представляемыми и представителями, между департаментами и столицей. И телеграф сможет обеспечить для работы выборного правительства «довольно быстрый и надежный эффект в такой большой стране, как Франция» (с. 115–116).

Военные нужды, а также некоторые предпосылки создания правового государства с отлаженной системой правосудия быстро покончили с жестокостью революционных трибуналов. Мейстер побывал у мирового судьи. В ходе судебного заседания он был впечатлен мудростью и терпением, с которым «судья всех слушал, упрощая предмет каждого спора до самых понятных терминов». И хотя это был простой упаковщик, он занимал эту интересную должность больше года (с. 110).

Революционная буря и национальный характер

Как уже говорилось, Мейстер ненавидел Революцию, однако был восхищен победами революционных армий. И не мог не отметить, что Франция была обязана ими именно революционному правительству. «Я не думаю, что деспотизм порождал когда-либо в аду ли, на земле ли более величественное и ужасное чудовище, чем революционное правительство. <…> Весь ужас, который вызывает эта отвратительная тирания, не смог бы пересилить восхищения перед удивительной энергией такой громадной власти. И какой бы ни была судьба Франции в будущем, невозможно забыть, чем она обязана 1793 году и чем она обязана сегодняшнему дню, этому небывалому сплочению всех сил и всех ресурсов» (с. 150). Союзные государства проводили лживую политику: под предлогом ведения войны против Революции «государи на самом деле вели войну против Франции» (с. 113). В результате эта ошибочная политика облегчила

триумф Революции и укрепила могущество Франции. Нельзя отрицать, что, пожертвовав счастьем нынешнего поколения, ужасные революционные потрясения парадоксальным образом лишь увеличили политическую силу старой империи. Конечно, частично таких достижений добились путем преступлений и насилия. Но как, однако, не признать результаты военной экономики, применяемой в доселе невиданных масштабах и поддерживаемой усилиями всей нации? Как не вспомнить, что в конце 1793 г. этот народ опустошил все пороховые склады, израсходовал все запасы селитры и что в течение нескольких недель «ему удалось собрать до последних крупинок (если можно так сказать) это вещество, рассеянное по всей Франции, и благодаря рвению, с которым этот народ решился все это задумать и осуществить, нашел внутри страны больше ресурсов, чем казалось до того момента» (с. 114).

С этой точки зрения даже ассигнаты и, следовательно, ужасная инфляция, которая разрушила страну и уничтожила личные сбережения самого Мейстера, даже это бедствие обернулось выгодой для ведения военных действий. Правительство финансировало войну благодаря необыкновенной «феерии ассигнатов». Ассигнаты также способствовали более быстрому обороту богатств, реальных или фальшивых, но в любом случае это приносило выгоду правительству. Ассигнаты в некотором смысле превратились в налог, взимаемый со всей страны, а значит и со всей Европы. Благодаря мужеству солдат, талантам генералов и мобилизации нации Франции удалось отбиться от всех врагов. После трех лет войны у нее все еще оставались многочисленные армии, лишенные предметов первой необходимости, но зато опьяненные славой и успехом. Франция не только не уступила ни пяди своей земли, но и «отважилась расширить свои границы дальше, чем когда-либо осмеливался мечтать Людовик XIV» (с. 115).

Эта удивительная преемственность между мечтами Людовика XIV о могуществе и завоеваниями революционных армий дает пищу для размышлений. Ведь она подтверждает основную идею Мейстера: какими бы тяжелыми ни были революционные потрясения, в частности, нанесенная Террором травма, однако вопреки революционным лозунгам, провозглашающим появление «нового народа», французский национальный характер не изменился. «Какие бы новые формы ему ни старались придать, национальный характер остается все тем же. Да и существует ли такая нация, чей характер мог бы быть переплавлен в период, ограниченный всего несколькими годами? Какой национальный характер смог бы дольше сопротивляться властному общественному мнению,

жесточайшим испытаниям, если не тот, чья сила состоит прежде всего в его гибкости, которая делает его одновременно и таким легким, и таким подвижным? Французы во времена Жакерии, Католической лиги, Фронды, тирании Робеспьера внешне отличаются друг от друга, но разве внимательный наблюдатель не узнает в них все тех же потомков древних галлов, которых столь прозорливо описывали Тацит и Цезарь? <…> Мы говорим о патриотизме и свободе; но [всегда] желаем власти и богатства, нас опьяняют слава и тщеславие. У нас случаются приступы мстительности и ярости, подобные ярости и свирепости тигра. Но по своей природе мы подобны лишь обезьяне: в нас ее тревоги и насмешливость, ловкость и нетерпение. При обладании умением потакать фантазиям этого народа и их ему навязывать, нет ничего невозможного для его живого ума и блистательной храбрости» (с. 122–123).

Признание неизменности с течением веков национальных стереотипов – общее место в культуре Просвещения; иначе говоря, эти «характеры» образуют связь между ученой и народной культурами: примерно одни и те же шаблоны можно найти и в произведении Монтескье, и в альманахах для простонародья. Ссылки на «национальный характер» французов как на движущую силу Революции (как это делает Мейстер) успокаивали – это все равно как найти знакомый ориентир во время бури. Согласно Мейстеру, эта Революция, провозглашавшая абсолютный разрыв с прошлым, своими деяниями вписывалась в историческую преемственность. Секрет этого необыкновенного потрясения состоял в том, что, по своей сути, оно было и оставалось французским. Эта Революция не была такой, как другие, и, однако, от начала и до конца это *французская* революция. С одной стороны, революционное правительство взяло на себя заботу об исконных интересах Франции, а с другой, французский национальный характер сохранился вне зависимости от революционных перипетий.

В Европе века Просвещения, настаивает Мейстер, эти неизменные национальные идентичности, «самобытные характеры» наций становится все труднее различить, и это мешает сохранению уникальности различных европейских народов. «Все смешалось, все друга на друга походят. Нравы, политика, философия развиваются во всех государствах Европы более или менее одинаково, в рамках общей системы. Настроения, доминирующие в главных столицах, склонность к путешествиям, к чтению и в особенности к коммерции сформировали, если можно так сказать, из всех народов Европы один». Между методами изучения древних народов и современные нации возникла огромная

разница. Для понимания древних достаточно было знать их законы, обычаи и религии. «А если бы о нас знали только это, то понимали бы нас совсем плохо. Наши законы, наши обычаи, наша религия стали нам практически чуждыми; по крайней мере, наши нравы и философия сильно ослабили их влияние на наш образ мыслей». Что касается современников Мейстера, то об их национальных особенностях лучше судить по духу театров, по стилю романов, по тону острот, а не по законам, богослужению или принципам правления. Чтобы оценить, применимо ли это наблюдение также и к революционной Франции, неплохо было бы разобраться, изменили ли за двадцать лет следовавшие друг за другом революционные конституции французский характер или «не изменит ли скорее наш характер конституцию»[7].

Какой бы ни была долгосрочная политическая эволюция Франции, в настоящее время после всех испытаний она особенно нуждалась в порядке и успокоении. Отсюда отношение Мейстера к политическому кризису, свидетелем которого он был во время своего пребывания в Париже. Умеренная монархия и ее сторонники, конечно, вызывают гораздо больше симпатии, чем находящиеся у власти цареубийцы, однако политический здравый смысл говорит ему, что нужно примкнуть к нынешнему правительству. Мейстер присоединяется к позиции, которая была довольно близка к взглядам мадам де Сталь и Бенжамена Констана: только правительство, появившееся в ходе Революции, способно защитить страну от возвращения Террора и Революцию закончить. Попытки восстановить Старый порядок и монархию неизбежно приводят к резким ответным действиям со стороны республиканского правительства, и в результате ему не остается ничего иного, кроме как вновь начинать Революцию, погружающую страну в анархию. Парадоксальным образом вещи поменялись местами. Республиканское правительство, рожденное Революцией, превратилось в консерватора, гаранта порядка и внутреннего мира, в то время как проводники контрреволюции стали причиной беспорядков и рисковали лишь продлить революционную бурю[8].

---

[7] См. *Meister H. Souvenirs de mon voyage en Angleterre.* Zurich, 1795. T. 1. P. 182–186.

[8] Выпуск «Литературной корреспонденции» от июня 1796 г. предоставляет своим именитым подписчикам не только два фрагмента «Моего последнего путешествия в Париж», но и подробную и благосклонную рецензию на брошюру Констана «О силе нынешнего правительства Франции и о необходимости к нему присоединиться» (см.: *Kölving U., Carriat J.* Inventaire de la « Correspondance littéraire » de Grimm et Meister. [2004]. Vol. 4. P. 213). Однако Мейстер упрекает Констана в том, что тот относится безразлично к жертвам Террора и забывает о них, но при этом настроен слишком снисходительно к виновникам Террора.

Поэтому нужно примириться с реальностью и приспособиться к обстоятельствам, принять историю, которая никогда не поворачивает вспять. А так как Мейстер ненавидит революцию и хочет избежать ее возвращения, то он выступает за принятие нового политического порядка – порядка, фатально запятнанного революцией, но все же порядка. Недавно принятая новая конституция говорит в его пользу. Конечно, она не совершенна; в частности, Мейстер считает признаком нестабильности режима необходимость ежегодно обновлять треть депутатов обоих Советов. Стоит ли ремонтировать механизм каждый год, особенно у «столь вспыльчивого, столь легко воспламеняющегося, столь переменчивого народа, как французский?» (с. 153). Однако так как эта конституция ближе всего к принципам представительного правления, она лучше, чем две предыдущие. И потому здравый смысл призывает поддерживать правительство, а не дестабилизировать его.

В долгосрочной перспективе новый режим должен столкнуться со сложной культурной проблемой: «Как прочно установить новый политический режим и новые правила морали у народа, чей язык и литература достигли такого высокого уровня совершенства, какой, судя по всему, вообще можно только достичь» (с. 129). Так как революция – это не только разрыв, но и преемственность, новый режим неизбежно вынужден примириться с культурным наследием прошлого. В театрах, к счастью, вновь играют Расина и Вольтера, Мольера и Корнеля. Однако столь совершенный язык и написанные на нем литературные шедевры неизбежно несут отпечаток Старого порядка и прежних нравов. Если нивелировать неравенство и все социальные различия, что станет с изяществом стиля Расина и Фенелона, с вольтеровским духом, с утонченным красноречием Боссюэ и Мабийона? Как не жалеть об обломках той эпохи, когда гений породил столь утонченное чудо? Эти сожаления, вероятно, были бы не столь сильными, если бы революционная Франция воспитала гений, сравнимый с гением Корнеля или Расина. Однако к тому моменту революция многое разрушила и не создала ни одного шедевра, который был бы достоин шедевров прошлого, не считая Марсельезы. Можно даже сказать, что Революции особенно не хватало именно литературного гения.

Таким образом, несмотря на революционные потрясения, Франция осталась Францией, и это была первая хорошая новость Термидора. Раненый, изменившийся Париж все же остался Парижем, такова была вторая хорошая новость. Город сохранил свою идентичность благодаря своей необыкновенной способности забывать.

Воспоминания о Терроре все еще видны повсюду, и все будто бы находится во временном состоянии. «Что меня больше всего поразило в Париже, так это странный характер неуверенности, переходного периода, заметный почти на всех лицах, люди выглядят тревожными, подозрительными, неспокойными, часто даже растерянными и нервными» (с. 90). Всего год назад Париж представлял собой огромную тюрьму, а сегодня прежние жертвы обязаны соседствовать с бывшими палачами. В качестве примера Мейстер рассказывает следующий анекдот. Мужчина выходит из кафе. «Так вот, – говорит один из моих соседей другому, – мужчина, который только что вышел, погубил 22 человека из моих знакомых. – Однако вы только что хорошо с ним разговаривали. – Увы, он действительно чудовище, но в те времена он оказал мне большую услугу. – А, ну тогда ясно». И затем Мейстер комментирует: «Представляете, какое впечатление этот маленький диалог произвел на сердце вашего бедного швейцарца?» (с. 90–91).

Париж, конечно, большой город, где одно впечатление сменяется другим, где беспрестанно встречаются новые лица, где вечерний спектакль заставляет забыть о дневных заботах[9]. Иными словами, быстрый ритм городской жизни способствует забвению: пережив ужасную революцию, большой город, тем не менее, легко о ней забывает. Революционные события следуют одно за другим с необычайной скоростью и не оставляют никому досуга, чтобы задержаться в прошлом и оценить величину своей беды и своих утрат. «Ничто не способствует лучшему забвению о большой опасности и великих страданиях, чем счастье оказаться спасенным». В череде тяжелых буден совсем нет времени задерживаться на воспоминаниях. Нищета, а часто голод, необходимость защитить себя от новых опасностей, столкновения с «настоятельными потребностями каждого дня, каждого момента» поглощают все силы души. И лекарство заключено именно в этих бедах; бедствия великой

[9] Мейстер восхищался идиллиями Гесснера, которые он сам переводил, но при этом он ощущает себя горожанином и космополитом. «На подступах к этой пышной столице (Лондону) я испытал чувства радости, счастья и безопасности, которые всегда вызывает у меня вид города через несколько дней путешествия или отсутствия в нем. Я очень хорошо знаю, что подобные эмоции не являются ни романтичными, ни поэтичными, ни пасторальными. <…> К счастью или нет, но я считаю себя в большей степени космополитом, чем гражданином, и большие города кажутся мне родиной для всех независимых и культурных людей; это центр, куда стекаются все таланты, все искусства, все знания, все ресурсы Нации. Именно из этого очага просвещения и активной деятельности беспрестанно распространяются все блага, которые гению и цивилизации угодно изливать на человеческий род». – *Meister H. Souvenirs de mon voyage en Angleterre.* l. c. T .I. P. 22–23.

революции в некотором смысле помогают благодаря той скорости и даже беспощадности, с которой они сменяют друг друга, возродить мужество и терпение, необходимые, чтобы им противостоять. Раненый и искалеченный Париж, переживший Террор, на каждом шагу демонстрировал бурлящую жизнестойкость. В поисках образа, который мог бы послужить его воплощением, «представить в себе все население этого огромного города», Мейстер вспоминает о бедном создании, хорошо известном всем парижанам:

> «Когда посреди столь мрачных и мучительных сцен я вижу еще и столько роскоши и спеси, столько странных причуд и легкомыслия, то не могу удержаться от того, чтобы не представить весь народ этого огромного города в виде того несчастного марсельца, которого тогда можно было увидеть в самых разных местах и при виде которого я никогда не мог сдержать удивления. Хотя все члены его были искалечены, одна нога привязана к плечу, а под культей второй ноги приспособлена кожаная подушечка, он все же весело передвигался по улицам и перекресткам, опираясь на подушечку и на свои кулаки, дерзко глядел на всех и распевал во все горло патриотические песни.
>
> Эту нацию сильно измучили во всех смыслах этого слова, навязав ей совершенно противный ее вкусам и естественным склонностям образ жизни, но она все равно сохранит и ту пламенную живость, благодаря которой она все еще существует, и ту счастливую веселость, благодаря которой она развлекается и утешается» (с. 99).

Так, одновременно и драматично, и оптимистично, можно было бы и закончить этот рассказ о визите в Париж Анри Мейстера в 1795 г. Однако книга заканчивается длинной главой о салонах, существовавших еще до Революции, грустными и подробными воспоминаниями о навсегда утраченном мире. Эти прекрасные страницы, помимо лирических откровенностей и салонных бесед, можно расценить как один из первых *социологических анализов салона в качестве культурного института*. Остановимся на нескольких мыслях о социабильности равных, на роли женщин, на искусстве нравиться и на подъеме литературы:

> «Труднее всего из всей прежней Франции, прежнего Парижа не жалеть об утрате обаяния общества, какого никогда доселе не было и которое, возможно, никогда уже не поднимется на столь высокий уровень, по крайней мере, таким образом».

Это общество появилось в результате уникального стечения обстоятельств, достоинств и недостатков, злоупотреблений и преимуществ,

просвещения и предрассудков, соединение которых было одновременно весьма естественным и в то же время совершенно особенным. Салон был социальным и культурным институтом, возникшим из-за социального неравенства, то есть из существования праздного «класса общества», которое благодаря «хорошо или плохо установленным социальным различиям» было окружено одними увеселениями, почетом, вниманием и уважением. Подобный образ жизни не мог не оставить на всех привычках этого привилегированного класса определенный отпечаток благородства и утонченности, которые, пусть даже непреднамеренно, всегда характеризовали его поведение и язык. Самый близкий к ним социальный класс был классом литераторов и художников, которые благодаря своим талантам также возвышались над обыденностью, а благодаря своему воображению и мечтам переносились в идеальный мир. В отношениях между этими двумя классами порой была заметна некая отчужденность, однако они постоянно чувствовали взаимное притяжение друг к другу в силу своих общих потребностей, увеселений и полезных затей. Кроме того, в Париже все привилегии статуса, места, рождения исчезали при светском общении и прощались приятному человеку; в салоне ценились лишь вкус, талант, остроумие, и тем самым он способствовал внедрению равенства в социабильность:

> «Таким образом, во времена Старого порядка, так глупо оболганного невежеством и духом соперничества, в собраниях, куда стремились более всего, можно было найти людей самого разного социального статуса, и все там в полной мере обладали равными правами, поскольку все старались привлечь внимание и понравиться» (с. 165).

Однако салон не был пространством социального смешения: каждый самым естественным образом занимал свое место, никому не приходилось напоминать о том, где им следовало бы быть. Людям, которых часто можно было встретить в одном и том же салоне, никто не предлагал собираться вместе только потому, что у них были общие деловые интересы или какие-либо чувства друг к другу:

> «Единственная цель, которая побуждала их встречаться, была потребность, столь распространенная в каждом огромном городе, переполненном множеством бездельничающих богачей, – потребность более настоятельная, чем можно себе представить, – занять праздный ум или же принять участие в какой-либо активной деятельности за их собственный или за чужой счет» (с. 166).

Одно из самых знаменательных преимуществ этих объединений людей столь разных характеров и состояний выражалось в том, что те,

кто хотел достичь там успеха, вынужден был говорить на языке, который был бы услышан всеми; представлять те факты и идеи, которые позволяли бы вести беседу; иными словами, ни на чем подробно не останавливаться, подхватывать чужие удачные мысли, чтобы еще больше обратить на себя внимание, давать слово другим и рассуждать не только живо и быстро, но ясно и ярко.

Беседа – обязательный элемент салона, а женщины являлись его душой и хозяйками. Без сомнения, доминирующее влияние женщин поддерживало склонность к фривольностям, ту легкость отношений, которая столь часто ставилась в упрек французской нации. Но никакие предрассудки не должны заставить забыть преимущества, которым мы обязаны женскому обществу. «Без женщин политическое и нравственное общество в широком смысле слова никогда бы, без сомнения, не существовало». Как общество парижских салонов «могло бы без женщин обладать таким очарованием, такой увлекательностью, которые превращали его в одно из самых приятных удовольствий?» (с. 174). Быть известной хозяйкой салона – это уникальный талант, который не ограничивался лишь тем, чтобы собрать у себя подходящих друг к другу людей. Требовалось также, чтобы хозяйка дома умела разглядеть, что интересного каждый из них мог привнести в разговор; чтобы она умела обращаться ко всем по очереди и побуждать, избегая бестактности и притворства, одного говорить, а другого замолчать; чтобы попросить кого-то, кто мог это сделать лучше всех, рассказать анекдот, а у другого спросить его мнение по поводу какого-либо произведения или события; чтобы она была уверена, что этот человек выскажет наиболее точное суждение или, по крайней мере, наиболее искусное и остроумное:

> «Я бы охотно сравнил талант этих хозяек дома с талантом музыканта, который, чтобы управлять большим оркестром, слушает всех и смотрит за всеми, умеет сдержать темп одних исполнителей, но увеличить его у других, предугадать как можно раньше любой возможный диссонанс и постоянно придерживается той золотой середины, без которой лучшая в мире музыка перестает производить впечатление» (с. 171).

Конечно, это талант, но также и искусство, которому учатся, совершенствуют и передают и которое в то время достигло самого высокого уровня. Мейстер воскрешает в памяти великих хозяек салонов той эпохи, из поколения в поколение передававших друг другу эстафету: мадам де Тансен, мадам Жофрен, Жюли де Леспинас и, наконец,

мадам Неккер[10]. Общение с этими женщинами учило большему, нежели пустому умению говорить с изяществом и умом милые пустяки, которые занимают так много места в обычных разговорах:

> «Именно у них можно было научиться выражать разумные и важные идеи как можно более ясно, так как только при этом единственным условии можно было надеяться, что их услышат. У хозяек салонов также учились преподносить мысли с бóльшим изяществом и простотой, так как только при этом условии можно было бы льстить себя надеждой, что вас выслушают» (с. 175).

Разнообразие мнений и совершенная свобода выражения обеспечивали яркий и живой разговор; присутствие хозяйки дома позволяло его смягчить и обуздать. Конечно, среди завсегдатаев были свои исключения, например, Дидро, чье изобилие знаний, масштабность идей, жар красноречия выходили за пределы негласно принятых норм, и только он один мог говорить без остановки: не сказал ли Вольтер, который увидел его первый раз в 1778 г. во время своего пребывания в Париже, покидая город: «Вот человек удивительного ума, но он не умеет выходить из режима монолога». Однако салонное общество умело также быть терпимым по отношению к великим людям.

Искусство ведения беседы, искусство рассказывать и слушать дополняли в салоне друг друга. Искусство и природа диалога, одного из высших достижений французского театра, испытали на себе счастливое влияние салона. Да и не только диалога! Как не признать, что эта уникальная атмосфера и удивительный культурный тренд повлияли на то, что теперь ставится в заслугу писателям Франции XVIII в.:

> «Конечно, именно они более всего посодействовали освобождению науки от того, что могло бы превратить ее в утомительное и возмутительное занятие; это они сделали ее доступной для всех умов, они превратили ее, я бы не сказал в популярное, потому что мы слишком злоупотребляем этим словом, но в более общественное занятие» (с. 180).

С исчезновением определенного образа жизни этот культурный тренд и литературный стиль, с ним связанный, также подошли к концу. Однако новая литература, которая должна бы была прийти им на смену, заставляла себя ждать.

---

[10] Мейстер не упоминает ни мадам де Сталь, ни ее салон. Подразумевает ли он, что ее салон, получивший известность накануне Революции, уничтоженный революционными превратностями, едва восстановленный в начале Директории после возвращения мадам де Сталь из Коппе в Париж, что ее салон уже принадлежал к иной социальной и культурной формации, нежели прежние салоны Старого порядка?

Как не ностальгировать по этому миру, такому близкому и уже такому далекому, который сгинул и никогда уже не появится вновь? Сюар написал Мейстеру в благодарность за его книгу:

> «Ваше прекрасное сочинение о том обществе, которые вы наблюдали и которого уже никогда нам не видать, – самое исключительное литературное произведение, и пусть люди со вкусом полюбят его перечитывать, а люди с чувствительной душой полюбят вновь смотреть на портрет приятного человека, о потере которого они будут сожалеть вечно»[11].

Постскриптум

Через пять лет, в апреле 1800 г., другой путешественник после девяти лет отсутствия вновь увидел Париж. Шатобриан въехал с западной стороны, через заставу Этуаль. Как и Мейстер, он был удивлен оживленными улицами, бурлением города, однако с первого момента он был поражен тем странным спокойствием, которое ускользнуло от внимания Мейстера, обладавшего тонким слухом, но бывшего умеренным протестантом. Было воскресенье, и Шатобриан услышал тишину. «Несмотря на веселье улицы, колокольни были немы; мне показалось, что я вернулся в день великой скорби, в день Страстной Пятницы». Как и Мейстера, Шатобриана поразила удивительная способность забывать, проявившаяся у парижан. Площадь Согласия, ранее называвшаяся площадью Революции, где погибли их близкие и где сложил голову Людовик XVI, стала для него местом паломничества; писатель обнаружил, что там все еще возвышается «кровавая машина», и побоялся «наступить на кровь, от которой не осталось ни следа». Голая и пустая, эта площадь «обветшала, она имела унылый вид старого амфитеатра»; прохожие пересекали ее быстро, не уделяя ей особого внимания. Однако вскоре он тоже привык к новому городу; он нашел в нем особый дух, похожий на тот, который, по мнению Мейстера, был окончательно утерян:

> «Понемногу я начал находить вкус во французской сообщительности, этом прелестном, легком и быстром обмене мнениями, этом отсутствии всякого чванства и всяких предрассудков, этом невнимании к богатству и именам, этом врожденном равнодушии к титулам и чинам, этом равенстве умов, которое делает французское общество не-

[11] Suard à Meister, lettre du 8 septembre 1797 // Bibliothèque publique et universitaire de Genève. Ms. fr. 2485. Enveloppe 6.

подражаемым и искупает наши недостатки: стоит провести среди нас несколько месяцев, и вы почувствуете, что не можете жить нигде, кроме Парижа»[12].

Список литературы

Chateaubriand R. Mémoires d'outre-tombe / Ed. de J.- P. Clément. P., 1997.

Correspondance littéraire, philosophique et critique, par Grimm, Diderot, Meister, etc. P., 1878.

Inventaire de la Correspondance de Grimm et de Meister. Oxford, 1984. 4 vols.

Humboldt W. fon. Journal parisien (1797-1799). P., 2001.

Kölving U., Carriat J. Inventaire de la «Correspondance littéraire» de Grimm et Meister. [2004]. Vol. IV.

Meister H. Souvenirs de mon dernier voyage à Paris (1795). Publiés pour la Société d'histoire contemporaine par Paul Usteri et Eugène Ritter. P., 1910.

Meister H. Souvenirs de mon voyage en Angleterre. Zurich, 1795. T. I.

Mercier L.-S. Le nouveau Paris / Edition établie sous la direction de J.- Cl. Bonnet. P., 1994. P. 835–836.

Moog-Grünewald M. Jacob Heinrich Meister und die «Correspondance littéraire». Berlin, 1989.

[12] *Chateaubriand R. Mémoires d'outre-tombe /* Ed. de J.- P. Clément. P., 1997. T. 1. P. 753–757. Русский перевод: *Шатобриан Ф.Р. де*. Замогильные записки / Пер. с фр. О. Гринберг и В. Мильчиной. М., 1995. С. 177.